


Олег Ильинский

СТИХИ

Книга вторая



МЮНХЕН

1962

Олег Ильинский

СТИХИ

Книга вторая



МЮНХЕН

1962

Все права сохраняются за автором.

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright 1962 by the author.

Склад издания: Книжный склад «А-Т-В», Мюнхен,
Verlagsbuchhandlung «А-Т-В», München 22, Liebigstr. 16.

ДВЕ ЛОГИКИ

(вместо предисловия)

Точка пересечения таких различных линий, как среда, воспитание, воспоминания детства, переосмысленные сознанием взрослого человека, наконец, осознание себя в рамках известного культурного комплекса — определяет угол зрения при художественном восприятии реальности. Так, перелески подмосковья, упавшее дерево на краю оврага, мамина белая косынка и легкое пальто, золотисто-зеленый занат (мы каждый вечер покупали у крестьян молоко, поэтому у мамы в руке бидон) — все это в памяти превратилось в художественный образ, вернее, в некую реальность, способную излучать особого рода энергию. Леса подмосковья, дворянские усадьбы, танцевальный зал дворца Шереметевых в Кускове, вечерние краски леса (в палитре Коро), крестьянские избы и деревенское стадо на пыльной дороге — вот слагаемые того облика России, который мне постоянно сопутствует. Этот облик абсолютно вне истории, он абсолютно не нуждается в том, чтобы его поддерживала какая-либо эмпирическая реальность. Его единственная функция — служить источником творческой энергии.

Хрустальные люстры и зеркала кусковского дворца, пруды и парки, граненое стекло и пудренные парики екатерининского портрета, белый зал и само понятие «Подмосковье» так же нереальны для нас, как призрак графини в Пиковой Даме. Но если приходит стихотворная строка — она всегда приходит из этого мира, который, как Китеж в озеро, погружен в подсознание.

Художественный образ живет своей особой логикой, и эта внутренняя логика упрямо не совпадает с логикой

внешнего мира. Это несовпадение особенно заметно в точках пересечения внешней и внутренней логики.

Одной из таких точек является восприятие женских образов.

Традиция романтиков научила нас сочетать женские образы с образами дикой природы, раскрывать женственность через образы лесов и озер. Женские образы, пройдя сквозь природу, очищаются сознанием до такой степени одухотворенности, что кажутся сочетанием музыкальных мелодий. Когда эти образы вторично проектируются сознанием на плоскость реальной жизни, они естественно не совпадают с ее законами. Отсюда — трагическая растерянность этих образов в обстановке реальности. Читая литературу, всегда по интуиции безошибочно узнаешь, угадываешь эти образы. А чувство влюбленности (или — что практически то же самое — художественное восприятие объекта) легко и без помехи наделяет обычные образы реальных жизненных условий чертами нереальных двойников, подсказанных подсознанием.

Люди особого склада живут по законам художественной логики. Эти законы подсознательно действуют на их склонности, симпатии, поступки. Другие люди живут по совершенно иным законам, как бы в иной плоскости. Благодаря этому опять является упрямое несоответствие между логикой внутренней жизни и логикой внешних явлений. Художником это несоответствие субъективно ощущается, как болезненное; а внешняя среда кажется грубой и как бы нетактичной. Из этого несоответствия рождается искусство.

Объект влюбленности, женщина, не может быть ответственной за капризы своего художественного двойника. Она хочет иметь свою волю, свою логику и невольно вступает в борьбу с навязанной ей логикой художественного образа. Отсюда — новое несоответствие, постоянный источник неудовлетворенности, источник творчества.

В основе всей проблемы — парадокс. Полная гармония отношений в любви была бы возможна, если бы женщина перестала быть человеком и стала чем-то вроде мелодии или строчки стихотворения. Но тогда она бы перестала быть женщиной, объектом любви.

Однако есть еще один выход в сторону. Элементы преобразенной художественным сознанием женственности — объекта любви — переносятся на природу. Природа становится объектом влюбленности. Природа не имеет собственной воли, она всегда соответствует своему художественному двойнику и не может поэтому разочаровать.

Круг, очерченный романтиками, замкнулся.

Олег Ильинский.

Сентябрь 1961 г.



Б И Р Ю Л Е В

Поэма.

ВСТУПЛЕНИЕ

Идет жара. Фруктовые прилавки
Гниют и вянут. Замирает жизнь,
Нью-Йорк в бреду, преследуемый Кафкой,
На этажи вздымает этажи.
Сквозным астралом железобетона
Одушевленный космос заменив,
Мир Кафки, безприютный и бессонный,
В тоске неутоляемой поник.
Как легкие от улицы устали,
Здесь дышишь, словно рыба на песке,
Но есть приют в библиотечном зале
Над стопкой книг на лаковой доске.
Стихи насытить ритмом русской прозы,
Улыбку лета с цельностью стихий
Переплести, чтобы врывались грозы
И совещались с грозами стихи.
Я стал искать сюжета. Лейтмотивом
К нему явилась радость бытия,
Водой озер природа засветилась
И бурно полилась через края.
И между прочим — гордость сердце гложет —
Ведя строку к победному концу,
Мне захотелось Кафку уничтожить,
Хлеснув зеленой веткой по лицу.
И скептикам навло, и всем рутинам,
Всех направлений, видов, нот и школ,
Мне хочется, чтоб, звезды опрокинув,
Спокойный пруд кувшинками зацвел.
Искал эпохи. И звала Россия,
В простор природы, мысли и тепла,
И под перо особняки просились,
И родина из-под пера плыла.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БИРЮЛЕВСКОЕ ЛЕТО

1826 г.

1.

Брести впотьмах. Искать и загораться,
Угадывая мысли сквозь латынь,
Чтоб под пером заговорил Гораций
Российским слогом, верным и скупым.
Мигает свечка. Просыхает строчка,
И ночи короткой не до сна,
В свободно раскрытый ворот сорочки
Веет из темного окна.
Гораций упрямится. Поединку
Не прекратиться до утра,
Влетает и падает на спинку
Свечой опаленая мошкара.
Небесный свод просторен, как вечность,
Он грудью на мокрый сад налег,
Зарницы, как мысли. Звезды, как вести,
В зарницах и в мокрых листьях — Бог.
Нинита один. В предутренней дрожи
Кустов и огромных черных вершин
Он чувствует всей поверхностью кожи
Движение и след огромной души.
В деревья вплетались звездные пряди,
Прохладно было. Роса была,
Через плечо на рукопись глядя,
С ним юность склонилась у стола.
Вот сад этот черный — он бесформен,
Он хаос, насколько видит глаз,
Но с первым лучом земля покорно
В сияющий космос облеклась.
А может быть это все обманы,
И только Господь замыслил во мне

Седые пространства звездных туманов
И кружево звездное в вышине.
Никита испуган. Он подавлен
Огромностью замыслов и сил.
Строка порвалась. Гораций оставлен,
Петух о рассвете возвестил.
В саду свежее. Теперь не ляжешь.
Птицы заговорили в кусту.
Под липой темнеет в пятнах влажных
Забывший с вечера садовый стул.
Слышно — открылась дверь балкона,
И тихо, пока не встали все,
Длинноногий учитель, Иван Платоныч,
Купаться отправляется по росе.
Учитель дышал водой и рощей,
Бежал из столиц в лесную сень,
И помнила Сенатская площадь
Его незадачливых друзей.
Проспекты раскатом поразило,
Был шелест бумаг мундирно строг,
Тогда прекратилась «Мнемозина»,
Пенат бирюлевских вечеров.
Двое стоят на буре откосе,
В мыслях и чувствах разницы нет,
Учителю только двадцать восемь,
А ученику шестнадцать лет.
Пруд потревожен. Расплываясь,
Кладки двоятся на воде —
Иван Платоныч, гетеанец,
Купается в бирюлевском пруде.

.

Волосы капают. Солнце встало,
Утро права свои берет,
Колонны дома сквозь ветки сада
Встречает Никита Бирюлев.
Учитель потеет, ищет тени,
Делает шапочку из платка . . .
«Как ваши музыкальные затеи,
Никита Петрович? Музы как?»
Мама на террасе в пятнах света
Со старой своей теткой Мари,
Мама с простотою сельской одета,
К чаю раскладывает сухари.

И ей смешно, и ей не по чину
Кажется тридцати трех лет
Иметь такого большого сына,
Который к тому ж еще и поэт.
Как годы бегут! Живи и вдовствуй,
Посмотришь, и пряди уже блещут,
А с ней переписывался Жуковский,
И даже бывал у них в гостях.
Письма писать и между делом
Заметить о сыне своем:
«Никита такой теперь загорелый,
Но нервный немножко и устает.
Но чуткий и ласковый. Книжки, музы,
Иван Платоныч . . . Они большие друзья;
Боюсь, в интересах будет узость,
А впрочем жизнь у него своя».
Утренний чай душист и ясен,
Бублики греются на самоварной трубе,
Блики балконных белых балясин,
Солнце сквозь ветки на траве.
Парк уходил к реке с наклоном,
В нем было росисто, даже днем.
Французская фраза, упав с балкона,
Мгновенно запутывалась в нем.

2.

Лениво поворачивая сутки,
В глуши болот горячий август шел.
В осоке перелетывали утки,
Озера зарастали камышом.
Садилось солнце. Обострялся шорох,
Был лист кувшинки мокр и лопаух,
По омуту, трясясь как на рессорах,
Проворно бегал водяной паук.
Иван Платоныч, побурев от пота,
Расплющивает липких комаров.
Они с питомцем по лесным болотам
Вторые сутки бродят без дорог.
Никита приустал. Но в целом свете,
Казалось, нет привольней и милей
Часов, чем комариные вот эти
Часы в походах против дупелей.

Чернела падь. Валежник тропку путал,
Сырая чаща прелостью несла.
Никита снял под вечер пару уток,
Одну из них собака не нашла.
Он прислушивается. Вначале
Только плеск и птичьи голоса,
Но вздохнул, и легкие вмещают
Целиком овраги и леса.
С посвистом и перелетом птичьим,
С блеском солнца, с равновесьем сил,
Кажется, что сердце безгранично,
И вбирает жизнь, как элексир.
Кажется, что он природе сверстник,
Что живет в осине молодой,
Кажется, что нет преград меж сердцем,
Звездами, осокой и водой.
Ничего не надо. Только жерди,
Только гати, пади — дни не в счет—
Чтобы так пронзительно блаженно
Дробовик оттягивал плечо.
Радостно. Бездумно. Ясно. Жутко.
Подходи к трясине. Не дыши.
Чтобы в пруд подстреленная утка
Падала, кровавая камыши.
Ровный пруд. Зеленой ряски накишь,
Сине-золотистое стекло,
Плеск воды и голова собаки,
Вплавь несущей утку за крыло.
Самому себе еще не веря,
Отстегнув веревочный ягдташ,
Теплый сгусток пороха и перьев
Погрузившей сумке передашь.
Под ногой податливая мякоть,
Пот на лбу. И в ясной тишине
Встряхивалась мокрая собака
С тиной на груди и на спине.
Козья ножка вечером на бревнах
С лесником. Старик белоголов,
В красноватом сосняке с огромным
Ясным небом меж сухих стволов.
Дед-лесник болтлив и в меру весел,
Он вздыхает, уток потроша,
Говорит о пчелах и о лесе,
И о том, что в утке есть душа.

Что Господь премалую толичку
Каждой твари отдал от себя,
Птица к зову Божьему привычна,
И не зная, чтит Его любя.
В комарах низы оврагов тонут,
На прудѣ осока высока,
И блесит вода. Иван Платоныч
Не спускает глаз со старика.
Курит самокрутку на поляне,
Слушает, как шевелится лист . . .
«Дядя Федор, ты шеллингианец,
Ты шеллингианец - пантеист».

Никита шел — в плечах слегка ломило,
Вот этот куст ему уже знаком.
За сутки он насквозь пропах малиной,
Болотной ржавчиной и сапогом.
Он похудел от пота и загара,
Высокий — чуть согнулся под ружьем,
Он шел счастливый, и кобель поджарый
Бежал, болотной мошкой окружен.
Никита думал о воде, о крыльях,
О старике, о тишине болот,
Об утках, что кровавились и бились
По камышам, подстреленные влет.
И в каждой ветке чувствовалась слитность
Частей, и чаща космосом была.
Кипела жизнь. Напрашивался синтез,
Слиянье сил. Болота. Треск крыла.

На ужин — дичь. Он сквозь леса пробился,
Он счастлив высшим счастьем на земле.
Он будет есть и выплюнет дробинку,
Застравшую межь косточек в крыле.

3.

«О сердце, стой, скорей на лошадь,
Едва помыслил — уж в седле . . . »

На «Фридерике» был заложен
Карманный Гете на столе.
Казалось, крылья выросли,
Роса блестела под лучом,
И разворачивались дали,
И дух был в космос вовлечен.
И становились антресоли
Тесны. Пружинило седло,
Галоп разгорячал, как воля,
И ветром волосы несло.
В ушах гремели ритмы строчек,
Уздечка прыгала, бренча,
Он там нечнет, где Гете кончил,
Постигнет синтез всех начал.
Он проследит побег в росте,
Он разрешит старинный спор,
Он смело перебросит мостик
От духа в солнечный простор.
Он все прошедшее оценит,
Дойдет к истокам, как родник,
Любовь понижит все, как цемент,
И станет прочной, как гранит.
Но для любви природы мало,
Природа для нее суха . . .
Как Фридерика волновала
Его сквозь тонкий флер стиха.
В ушах гремели ритмы строчек,
Уздечка прыгала, бренча,
Он все озера видеть хочет,
Попить из каждого ключа.
А вечером пили чай с малиной
В тени, отдыхая от жары,
На ноте назойливой и длинной
Прозрачно пищали комары.
Лугами несет. Пустеет выгон,
Сырея овраг уходит во мглу,
Никита с раскрытой немецкой книгой
Рассеянно выходит к столу.
Черной смородиной пахнет лето,
Солнечной хвоей веют леса,
И, заглушая строфы поэта,
Звонит отбиваемая коса.
Толкаясь, клубится рой насекомых,
Кроны деревьев еще светлы,

В страницы немецкого лексикона
Мята врывается и полынь.
Смеркается. Солнце село за гребнем
Амбара, огромное как нигде;
О скрип журавля внизу на деревне,
О крики лягушек в темном пруде.
Россия? — Покатый навес балкона,
Оплывший подсвечник и свеча,
За чаем татап и Иван Платоныч
В расшитой ермолке и в очках.
О рай лопуховый! О несравненный
Никитин родной бирюлевский дом,
О юность его, пропахшая сеном,
Собаками, лошадьё и седлом.
Душа расширялась. Платон и Гете
Свободно росли, как два крыла,
И дух захватило от полета,
И вечность его мечтой была.

Стояла жара. Жужжали осы,
Раскрытым стоял просторный дом,
В широкие окна несло покосом,
Цветами, оврагом, деготьком.
Жили широко. Родственных связей
Держались с упорством старины,
В Ольгине был престольный праздник,
И все Бирюлевы приглашены.
Канавы проселков пахли летом,
В колосьях покачивалось зерно,
Никита верхом скакал за каретой,
Сбоку заглядывая в окно.

Ладан стоял столбом пахучим,
Синей полоской нависал,
На клиросе пел усатый поручик,
Ольгинский барин, лихой гусар.
В узких окошках небо светилося,
Никита пытался и не мог
Забуть камыши и летнюю силу
Болот, где водой пропитан мох.

Он вздрогнул. Глаза слегка скосились,
Смущения он не мог превозмочь;
Казалось, все планы вдруг сместились,
На клирос прошла хозяйская дочь.
Не видеть? Прошла легко и тихо,
Не зная, как глаза ее хороши,
Быть может она его Фридерика,
Прообраз его мировой души.
Служили долго. Из сел соседних
Телег и оглобелъ — полный навес,
Матап не могла достоять обедни
И вышла гулять в березовый лес.
А гётеанец, Иван Платоныч,
Несмело протискался за ней,
И Шеллинг дохнул горячим звоном
Лугов, и уздечек, и коней.

В Ольгине было много званных,
Наливка уже шумела в ушах,
Ольгинский барин, Иван Иванович,
Тянулся с Никитой на брудершафт.
А вечером — танцы. В окнах липы,
Светляк залетает, дышит лес,
Гусар подхватил матап и лихо
Прыжками отхватывает экосез.
Топорщится ус. Азарт и ярость
Сверкают в выпученном зрачке.
Никита с притихшей дочкой гусара
Стоял за колонной, в уголке.
И это, наверно, было счастье,
И было жарко. Хотелось пить.
Никита молчал и очень смущался,
Смущенье опутывало, как нить.
«Вы нынче в Москву? На целую зиму?
Как жаль . . . А иначе, видно, нельзя?
По бабушке я вам даже кузина,
Поверьте, мы с вами будем друзья».

.
В болотах кричали коростели,
Вечерний туман настигал карету.
Домой воротились и нашли
Записку от дядюшки-поэта.

«Элиза», писал сановный поэт,
«Привет, бирюлевская Харита,
На ваше посланье — мой ответ:
Никите вакансии открыта.
Ректор наслышан обо всем,
Поздравьте со шпагой студiosa,
Никита уже в реестры внесен,
Сушите скорей прощальные слезы».



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗА ГРАНИЦЕЙ

В с т у п л е н и е

Земля в цвету. И ничего не надо,
Просторный космос точен, как часы,
И улыбнулась Лейбницу монада
В хрустальной капле утренней росы.
Листва лесов дождем весенним смята,
И семена разбухли от ростков,
Со скальпелем орудует анатом
И в клетку углубился микроскоп.
Дана природа в почке, как в идее,
И в атоме вселенная дана.
Не бесконечной цепью совпадений,
А творчеством земля оживлена.
Любая тропка в творчество уводит,
Когда весну листаешь, как дневник.
Как в мастерской художника, в природе
Не замирает Воля ни на миг.
Прозрачный столбик солнечных пылинок,
Живое тяготение планет.
Пространство. Время. Сила. Поединок
Между космическими «да» и «нет».
Живая влага. Солнечное благо.
Соцветья. Блики. Заросли. Кусты.
Ни Фаусту, ни доктору Живаго
Не интересен скепсис пустоты.
Глаз человека — солнечная призма,
Прозрачная ему открыта даль:
Животворящий трепет романтизма,
Скользящих капель солнечный хрусталь.

1830 г.

1.

Почтовый рожок, грозой раздражайся,
Шлагбаум, скрипи, в рогатку ударя,
По грязи плетутся дилижансы,
И Гете еще живет в Веймаре.
О трепет сердечный. О шорох веток,
О зайчиков утренних игра,
О мост и река за окном кареты,
Булыжник и лавочка столяра.
Вращаясь, бегут колесные спицы,
Весеннюю свежесть в окна внося.
И все говорит, и люди, и птицы,
Черешни, и улицы, и леса.
Беспечность дороги в сердце хлынет,
И новым весельем просквозит:
Гегель читает еще в Берлине,
И надо отдать ему визит.
Рессоры скрипят. Привольно светел
Рожок почтовый на выезде городка.
Надежды и смех в почтовой карете,
И пыль придорожная легка.

Старинный город дружен с плющом,
С побегам дикого винограда,
Никита дружен с большим плащом,
Со смехом у каменной ограды.
Никита свободен и беспечен,
Окошко настезь на черепицу крыш,

Никита влюблен в немецкий вечер,
И как за Никитой уследишь?
Мелькают фуражки корпораций,
Мелькают стекла оконных рам,
Спешат между листьев пробираться
Робкие капли по утрам.
Прохладная тишь аудиторий,
Платоновских диспутов слова,
Апрельский каштан душисто-горек
И весело кружится голова.
Уютен квартал и город ласков,
Успел он в веках переплестись
С готической логикой схоластов,
С пронзительно звонким пеньем птиц.
Орган был в соборе многоволен,
В окошках занат весенний ник,
И высылось столько колоколен
Над миром булыжных мостовых.
В соборе звучали Бах и Гендель,
Сияла листва куда ни взгляни,
Слагались в студенческую легенду
Никитины солнечные дни.
Слагались в единый праздник люди,
Счастливая сила дни несла.
Казалось, что лучше минут не будет,
Чем эта готическая весна.
По кабакам кудрявилось пиво,
Сплетницы ткали вязь молвы,
Дуэли разыгрывались криво,
Кромсая студенческие лбы.
Сквозь призму абстракций время бежало,
Кружился веселый мир вещей,
И в чепчики юных горожанок
Никита влюблялся до ушей.
Он пел серенады у балконов,
Тревожа покой жестоких дам,
А письма домой наполнял Платоном
Со Шлеермахером пополам.
Весна разворачивала краски
В блеске последнего броска,
За день или два до русской Пасхи
Он русскую церковь отыскал.
Он вспомнил, что где-то русский консул,
И надо отдать ему визит,

Он вспомнил, что дядюшка московский
Откланяться консулу велит.
Христос Воскресе! Горький тополь,
В консульской церкви звонили колокола,
Под небом готической Европы
Заутреня свечами плыла.
Никита с России в церкви не был.
Христос Воскресе — с хоругвями шло кругом,
Христос Воскресе — земля и небо,
Вода и листья, Россия, семья и дом.

2.

Карандаши, кусочек сургуча,
Почтовые конверты на конторке,
Оплывшая на столике свеча,
Да Гумбольтовы лекции без корки.
Душа воды, живи в каштанах, вей,
Дыши через окно на манускрипты,
Перо в руке и складка меж бровей,
Входи весна, оконной рамой скрипнув.
«Без Бога пусто. И меркнет цѣнность,
Философ к Нему еще не проник,
К Нему на путях встают системы,
Его заслоняют кипы книг.
Системы? — Спиноза, Гегель, Шеллинг,
Прохладно-безличный пантеизм,
Трава, прорастая, бьет из щели,
И яблоко мирно падает вниз.
Не то. И Спиноза, и Гегель слабы,
Система бесплодна и суха,
А вера в свече бирюлевской бабы
И в шопоте Федора-лесника».
Дневник закрыт. Захлопнуты конспекты,
Весна шумит, как с хмеля голова,
Сияет капля всем размахом спектра,
И серебрится влажная трава.
Никита от рабочего стола
Уходить в горы, к солнечному ветру,
Уходит от тепличного стекла
К воде озер и водоемов светлых.
Навстречу винограду и плющу,
Где первой страсти выдержан экзамен,

Навстречу песне, голосу, плечу,
Навстречу смеху с темными глазами.
Любовь забывала все заботы,
Любовь забывала все дела,
Улыбка была, как строчка из Гете,
Улыбка, как лес весной, была.
Казалось, нет ничего сильнее,
Чем косы и линия пробора,
Чем ласковый шорох ясных дней
На узенькой площади собора.
Но были у Гретхен дяди и тети,
Летел из окошек пух перин,
Герань на окне тянула к зевоте,
А к быту студент непримирим.
Дремали соборные ступени,
Ночная площадь была пуста,
Никита бродил огромной тенью
По милым вчера еще местам.

3.

Бирюлевка, мая 10-го 1830 г.

«Мой друг, получила Твое письмо,
Ты сетуешь на немецкую узость,
Как я понимаю Тебя. Весной
Сидеть взаперти, в философских узах!
А наших просторов нет милей,
Живешь в Бирюлевке лето и зиму,
И, кажется, жить нельзя без полей,
И поле от сердца неотделимо.
Бывает порой и грустно мне,
Признаюсь — вчера я даже всплакнула,
Но рада, что ты отдался вполне
Прекрасным стремленьям своей натуры.
Дела, дилижансы, Гете, Шеллинг,
Товарищи, дальние края,
Да будет Тебе всегда утешением
Усердная молитва моя.
Молюсь—и к Тебе я, кажется, ближе,
Все думаю, скоро ли Ты домой?
Мне грустно, что я Тебя не вижу,
Скорей приезжай, единственный мой!

Послала Тебе кадушку меду,
Получишь — за нас покушай всласть.
Дойдет ли? А то ведь зря расходы,
В таможене-то долго ли пропасть.
Статью о Спинозе получила,
Ивану Платонычу вслух прочла.
Ты пишешь умно и красноречиво
Против безличности Божества.
Он говорит, что слог логичен —
Ты мнением его всегда дорожил;
Но добавляет, что Бог как личность
Для человека непостижим.
Бог, он сказал, в раздолье луга,
В шелесте злаков полевых,
Бог — это искра в сердце друга,
Шепот осины, сок травы.
Самой мне слова эти режут слух,
Я верю просто, как няней велено.
Ну, как Ты живой Евангельский дух
Заменишь духом системы Гегелевой?
Я в Бирюлевском уединении
Все-таки счастливо живу,
Здесь есть человек с полетом гения,
Он рядом со мною, наяву.
Ты с самого детства сердцем тонок,
Разумность сердца в Тебе хороша,
Ты знаешь, что это — Иван Платоныч,
Такая светлая, большая душа.
Он просит ему составить счастье,
И я согласилась, что таить,
А Ты? Я ведь знаю, Ты согласен,
Я чувствую мнения Твои.
Вчера я еще не знала сама,
И слово его приняла, как новость.

Твоя

ветреница татап

Елизавета Бирюлева.

Сын улыбнулся — татап ребенок,
Покой без терзаний и страстей,
Прекрасная тишь мечтаний сонных,
Лесов и девических затей.

Декабря 29-го 1830 г.

Мамап, ты коришь меня за молчанье,
Мой друг, ты тысячу раз права.
Все письма исправно получаю,
Но жизнь не укладывается в слова.
Ты помнишь, сырой овраг за садом,
В котором Гете меня встречал?
Светилась, жила лучом, плескалась
Вода, завихряясь и журча.
Тепло и легко на скате пологом,
Травинки касаются лица,
Казалось, еще, еще немного,
И Гете увидит ликъ Творца.
Казалось, легко к Нему дойти,
И в душу, и в быт Его внести,
Но Гете застрял на полпути,
Иван Платоныч на юности.
С приезда в Европу — радость полета,
Сердце — раскрытое окно,
Я думал, что здесь доскажут Гете,
Веру и жизнь сливая в одно.
Хотелось для мысли новых аспектов,
Новых побегов и ростков,
Но здесь оказался холод, скепсис,
Безверье и зависть стариков.
Здесьшний наш консул — просто прелесть,
Пример доброты и мягкосердия,
Он дает вечера, по разу в неделю,
И немцы ходят к нему на стерляди.
Дяди Василия записка
Открыла двери его гостиной,
И я наблюдал довольно близко
Остроты ума и шутки чина.
Однако не мог ни с кем сдружиться,
Вступая в бой почти на пороге,
И начинали вещи кружиться,
И сердце несло куда-то в ноги.
Консул — он мил и отменно вежлив,
С опаской ловил мои слова.
Он как-то сказал, что я невоздержан,

И слишком горячая голова.
 Здешний историк, доктор Цейлер,
 Дряхлый старик, как и все философы,
 Проникнут брюзгливым отрицанием,
 Брызжет слюной и с подагрой носится.
 С прихода мгновенно вспыхнул я,
 Россия, изрек он, в степь отодвинута,
 И вне исторического бытия
 По причине холодного климата.
 А вот Вам мудрость в ином лице,
 Во вкусе ином и в ином костюме —
 Тридцатилетний приват-доцент,
 Рыжебородый гигант из Тюбингена.
 Цейлер и Гегель — склад вранья,
 Он бросил с изяществом нахала,
 Пруссия — жирная свинья,
 Оплот сапога и феодала.
 О Пруссия, он вопит, сгоришь
 Со всеми правами твоими куцыми.
 Он пьет и грозит ехать в Париж
 Спасать и лелеять революцию.
 Штраубингер, патер-иезуит,
 В мягких сапожках, с речью логической,
 Круглый животик, ласковый вид,
 Мечтает увлечь меня в католичество.
 Он держится с милой простотой,
 И знает все — о земле, о небе ли,
 И верит, что Рим и Святой Престол
 Отнюдь не вредят системе Гегеля.

 Смотрите, куда тоска завела,
 Словами глупцов письмо переполнено.
 Как жизнь в Бирюлевке? Как дела,
 Как здоровье милых птенцов из Ольгина?
 Наташа писала раза три,
 А я между делом забыл ответить,
 Но письма пришли, чтоб обострить
 Память о нашем последнем лете.
 Слышал, что в Москве была чума.
 Ее называют здесь холерой.
 Пишите, каков ее размах,
 И можно ли слухи брать на веру.
 Пишу «Метафизику природы»,
 Надеюсь отдать ее в печать.

Нащекин в Москве пытается броду
Пытаясь цензуру приручать.
У нас мудрено цензуре потрафить,
Уж чем бы казалось плох Плотин,
Статейку мою о нем в «Телеграфе»
Безжалостно цензор сократил.
Ну, хватит, я скоро еду домой.
Прощайте — всего не перескажешь.
Я еду в Россию с пустой сумой,
С немецкой логикой в саквояже.
От гор и долин, картонно-красивых,
По старой Европе покружив,
Я еду соскучившись в Россию,
Чтоб честно и прочно строить жизнь.
Кончаю. До встречи с пирогами,
Матап не скучайте о блудном сыне.
Записку Гегеля прилагаю
На память о нашей встрече в Берлине.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Д О М А

В с т у п л е н и е

Из чуткости, слагавшейся веками,
Из старых связей, общности судьбы,
Из жизни духа, из глубин дыханья
Образовался просвещенный быт
Дворянского особняка. К странице
Он встал вплотную. Захватил, повел,
Из прошлого выхватывая лица
Сквозь призму лет и философских школ.
Шумели распри. Были склоки наций,
Года и дни вращали колесо,
И трескалась земля от детонаций,
И искажалось русское лицо
В дыму Варшавы и казалось диким,
Но уходили в прошлое года,
История просветлевала ликом,
Как ровный круг вечернего пруда.
Паренье духа. Зарождение мысли,
Как загрождение завязи цветка,
Цветенье жизни, как цветенье кисти
Черемухи, как поляя река.
И длилась нота, ласково и зыбко,
И падал луч стеклу наперерез,
Заговорила женская улыбка,
Веселым смехом отозвался лес.
Для жизни духа смуты нереальны,
Они как сон, как разговор в бреду.
Они стихают в глубине хрустальной,
Как рябь воды на солнечном пруду.

1.

Просторно-светлых комнат анфилада,
Где в гранях люстры беглый луч сверкал,
Мелодию старинного уклада
Нам шлет, как в перспективе из зеркал.
О люстры цвета радуги, играйте,
Высоких свеч преображая свет.
Продолженная в лаковом квадрате
Колонна опрокинулась в паркет.
Летят снежинки. Их не переловишь,
Они в гардинах кружатся, снуют,
В Кривоарбатском, в доме Бирюлевых
Печей голландских ласковый уют.
Москва в снегах. Москва в пирах Платона.
Домашние пенаты стерегут
Шестиколонный дом и на фронтоне
Между ветвей дворянский герб в снегу.
Вскипает пунш в голубоватой чаше,
Вскипают мысли, душу веселя.
В больших глазах у ольгинской Наташи
Живет прозрачный отблеск хрусталя.
От первых фраз за солнечной колонной
Лишь только возрастом отделена
Хозяйка бирюлевского салона,
Никитина прелестная жена.
Фон бархатный идет к миниатюре,
Блестит отдушник символом тепла,
И снег идет. И в доме трубки курят,
И свечи оплывают в зеркалах.
И знает свет радушие Бирюлевых,
И литератор — шумных тостов гам,
Полет стиха, наливкок блеск в столовой,
И что у них салон по четвергам.
Нащекин пенит тосты и экспромты,
Князь Вяземский на эпиграммы скор,
Блестят глаза, выскакивают пробки,
И полночь идет высокий спор.
Стекло звенит таким семейным звоном,

Все гости так уютны и милы,
И были для любителей бостона
Между колонн расставлены столы.
Гостиная явилась клубом мнений,
Языков был взнесен на пьедестал,
Залетным гостем Александр Тургенев
Являлся, ослеплял и улетал.
Старик Квашнин со слуховою трубкой,
С животиком на тоненьких ногах,
Словесною своею шпагой хрупкой
Подкалывал словесного врага.
Входил Чаадаев — весь как на пружине,
Его, казалось, тайный гений вел,
В нем жил трибун, и бури духа жили,
И озирая скованный орел.
Историю он снальпелем взрезал,
Он был жесток в логическом ударе,
И щурились холодные глаза,
Чуть-чуть похожие на государя.
Он вскакивал. Он оживлялся пенясь,
Две версии ложились на весы,
Сиял от гегельянских вдохновений
Его космический католицизм.
Никита спорил. В споре восхищался
Противником. И снова двигал в бой
Концепции. И был предельно счастлив
Своим врагом, и мыслью, и борьбой.
Гремящий спор светился острой гранью:
«Вы судите Россию второпях,
Поймите, вы — в России иностранец,
А я насквозь земель своей пропах.
Чтоб вырасти и воплотиться в листья,
Проходит семя сквозь пласты земли,
Уходят в землю корни наших мыслей,
В тысячелетней кроются дали.
Мы сеем хлеб. Крестьянские заботы
Для нас свои. Нам дух земли знаком,
В Россию я поверил на болотах,
На бревнах сидя с нашим лесником.
Россия — сердце всех моих исканий,
В Берлине, здесь ли, близко ли, вдали
Спокон веков, пока хватает память,
Все Бирюлевы жили от земли.
Я вовлечен в одну с народом сферу,

Я с детства вскормлен мамкой из села,
И кровь одна, и хлеб один, и вера,
Мечты, и упования, и дела.

Еще в окне прокладки белой ваты,
И звуки улиц рамой стеснены,
А снег на масленице ноздреватый
В веселом ожидании весны.
Весна врывалась стаяй воробьиной
В особняки, сквозь переплет ветвей,
В сирень садов и в окна мезонинов,
В колокола и в звонницы церквей.
Пречистенка горчила тополями,
Землей, водой и почками несла,
Сады и полисады оживлялись,
В заборах, в кровлях, в тупиках весна.
Тверской бульвар вскрывает стекла окон,
И в сад выбрасывает бельэтаж
Аккорды танцевального урока,
Французских фраз жемчужный ералаш.
Все тополя в душистых белых хлопьях,
Ломовики подковами бренчат,
А на бульваре барыня в салопе,
Студент в пальто, в фуражке и в очках.

2.

Во всех делах и помышленьях легкость,
На всем сиянье чистого стекла.
Пришло письмо из мокрой Бирюлевки —
Матап просила перенять дела.
«Ведь ты подрост. В сумятице весенней
Меня опять вокруг пальца обведут.
Иван Платоныч — он абстрактной тенью
Проходит сквозь житейскую среду.
Пойми, мне трудно, а в житейской сфере
Меня любой сумеет убедить,
И кто последний, я тому и верю,
А сколько разных споров впереди».
Никита едет. Взгляд матап рассеян.
Тягот немало на ее веку.
Она стояла вся в письме весеннем
И мягко улыбалась сквозь строку.

Он с головой окунулся в бурю
Весенних работ, и веял простор
От крупной его веселой фигуры,
На мокрой земле еще пустой.
Пахло землей, гнилой соломой,
Под сапогом ломался ледок,
Забор за амбаром был поломан,
И чавкали лужицы следов.
День без дождя, прозрачно-серый
Светом бессолнечным сиял.
Поля просыхая, ждали сева,
Преображаясь в смысл бытия.
Деревья светились пухом зеленым,
Корягу вертел раздутый ручей . . .
Остались в Москве — жена, салоны,
Дети и душный жар печей.
Остались на полках книжные груды
До пасмурной осени скучать,
А здесь половодье ломит запруду
И выстрелы вспугивают грача.
В Наташе — безмерная покорность,
Его идеи, его слова,
Его отголоски, мысли, формы,
Его глаза, его голова.
Наташа с детьми. Наташе — карету,
Наташа — насадка, дом, покой,
Но нет новизны такой, как в этой
Весне с переполненной рекой.
А сам он еще водовороту,
Потоку бегущему родня,
А сам он еще не ценит кротость,
Безбурную легкость ясного дня.
А здесь отражаются избы в лужах,
Здесь солнце, здесь птичий перелет
Весной и полям, и избам нужен
Помещии, Никита Бирюлев.

Когда полей нежна была палитра,
А лес двойлся, в озеро упав,
Когда стояли ноты на пюпитрах,
А в медальонах погасал закат,

Когда еще похрустывали печи,
Земля мокра и сумерки длинны,
Казалось, день весенний будет вечен,
Конца не будет клетоту весны.
Сапог Никиты чавкает по лугу,
Он входит в дом, озябнув на ветру . . .
Гостит у мамы младшая подруга,
И гостье он представлен ввечеру.
Она с татам разыгрывала Фильда,
Листала ноты, партии уча,
Она была, как медальоны стильна,
И музыка светилась, как свеча.
Земля дымилась, плугу уступая,
Часы и сутки и дела несло,
Никита ждал жену в начале мая,
И приготовил дамское седло.
Леса иругом стоят еще без листьев,
Еще в низинах снега не свело.
По вечерам жене писались письма,
О том, что в кабинете протекло,
Что выгон оголился и просох,
Что наверху обои переменят,
И что прислал Жуковский пук стихов,
Из тех, что Пушкин прочит в «Современник».
Стихи ходили в списках и гремят,
И в действии своем неотразимы,
А автор их — какой-то дипломат,
Желающий остаться анонимом.
Стихи у нас нейдут из головы,
Мы все подряд читаем, задыхаясь,
В них голос грома с шорохом листвы,
И смотрит космос в первозданный хаос.
И эта Анна Федровна, Анета,
Что здесь живет с неделю у татам,
Так чутко отзывается поэту,
Как будто написала все сама.
Вот молоко парное на террасе,
Закат в березах, стихотворный ритм,
А лес веселый бурно-многогласен
И шумом птичьих крыльев говорит.

Жена не едет — нездоровы дети,
 Жена боится сырости, весны.
 Ссылается на климат и на ветер,
 На то, что экипажи ей тесны.
 Навоз дымился. Вскидывались вилы,
 Являлись неотложные дела,
 Никита жил — и радостная сила
 Его по рощам мартовским несла.
 Улыбка марта, вкрапленная в каждом
 Его движении, касалась всех,
 Все мелочи приобретали важность
 Таковую же огромную, как сев.
 И внутренняя грация гостившей
 В деревне Анны Федровны внесла
 В слова и мысли новый склад и пищу
 Таковую же живую, как весна.
 Уже леса — другое что-то значат,
 Находят лужи выраженья лиц,
 Как будто бы рассказ веселый начат,
 Как будто почки счастьем налились.
 Вода снесла и выкинула мостик,
 Весенний лес от голосов оглох.
 Порой казалось — у Никиты с гостьей
 Неслышимый ведется диалог.
 И как она прислушивалась к шутке,
 Как улыбалась, как брала аккорд,
 Как становилась грустной в промежутке
 Меж двух улыбок, как мелькал укор,
 Веселые глаза ее туманя,
 Как утром выходила на балкон,
 Как головой кивала, понимая
 Любой нюанс, движение и уклон;
 Все солнечною грацией мелодий
 В ней живших говорило и цвело,
 Все отзывалось глубиной половодья,
 И мысль в глазах плескалась, как весло.
 Никита понял: солнечная бездна
 Его влечет, судьбу его неся,
 Он видел, что бороться бесполезно,
 И, оглянувшись, понял, что сдался.
 Была любовь еще в догадках зыбких,
 Но приплеталась к будничным делам,

И как бывало весело в улыбке
Встречать доверье с лаской пополам
И той несмелой, той покорной грустью,
Которая присутствием своим
Бессмертие вливала в каждый кустик,
И открывалась только им двоим.
И диалог — он становился явным,
Пугал татап, кругля ее глаза,
Казалось в доме собиралась грянуть
Какая-то огромная гроза.
Но были только мысли, только шутки,
Наплыв весны, под вечер тишина,
Матап ждала. Ей становилось жутко
Смотреть. И все не ехала жена.

Весна завладевала все смелей,
Весна была для сердца, словно вызов.
И, возвращаясь вечером с полей,
Никита шел, как будто ждал сюрпризов.
И было так — ни слова не сказав,
Себе не признаваясь в беспокойстве,
Вспорхнувшей золотистостью в глазах
Его приход приветствовала гостья.
Казалось, что бы он ни говорил,
О севе ли, о том, что мост разрушен,
О том ли, что токуют глухари,
Она его всегда готова слушать.
Он говорил о том и о другом,
И как-то Анна Федровна сказала:
«Вы весело идете и кругом
Глядите энергичными глазами».
Она смеялась: «Вы — энтузиаст,
Рубить ли лес, писать ли, сеять просо —
Все весело и все легко у вас,
И все-то вы искатель и философ».
Назавтра продолжался диалог,
Он ширился, напора не ослабив —
Никита с гостьей через все село
Ходили с чаем к заболевшей бабе.
Он помнил свежесть этого утра
В подробностях. Он помнил запах лужи,
Он помнил, что листва была мокра
Прозрачной влагой солнечных жемчужин.

И рошу пробирало холодком,
И ветки с хрустом, раздвигаясь, гнулись.
Биенье сердца помнил он. Потом
Опомнился глаза ее целую.
Они сошли с тропинки. В первый раз
Он говорил ей все. Был лед разломан,
А у дверей московский тарантас
Уже стоял, когда вернулись к дому.
Он понял, что приехала жена,
Что вот сейчас ему реальность встретить,
Идти навстречу . . . Просторная весна
Летит вперед. И сушит лужи ветер.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

О милая растерянность и гибкость
В движениях, как в ветке за окном.
Она одной беспомощной улыбкой
Ломает жизнь и ставит быт вверх дном.
Она подходит мягко, взяв за плечи,
Дарит, опустошая, и влечет,
И сыплется галактик дальних млечность
Сквозь ветки липы в глубину зрачков.
Приходит буря. Сосны с ревом гнутся,
Но дождь прошел и ожили леса,
Скажи, не весь ли космос улыбнулся
Одной улыбкой женского лица.
Больших прудов заманчивая ясность,
Веселый блеск, горячий сумрак глаз,
Но лишь улыбка на лице погасла,
Нам кажется, что целый мир погас.
Что меркнет солнце. Что луна орбиту
Покинула, что мир сошел с ума,
Что сердце стало. Что душа убита,
Что летом водворяется зима.
И кажется закрыты все пути,
И все мертво — пространство, люди, стены.
Кого просить? Куда и как уйти
От злой опустошенности вселенной?

1842 г.

1.

Германских кафедр юный пантеист
Не верил в смерть. Включался в жизнь природы
Бессмертный дух и воплощался в лист
И в бабочкиных крылышек разводы.
Душа лилась в бессмертье, как вода,
В порыве ветра становясь безликой,
Безлико оставаясь навсегда
Песчинкой в этом космосе великом.
Никита помнил голос и сюртук
Профессора. Старик читал и кашлял,
А за окошком догорал и тух
Закат весной на колокольной башне.
Профессорам — в природу изойти,
Никите — жить, глотая том за томом;
А смерть казалась на конце пути
Почти несуществующим фантомом.
Но время шло. Никите тридцать два.
В семье разлад. Он двух семей осколок.
Мелькали дни. Седела голова.
И в мысль о смерти вкрапливался холод.
В его любовь вмещался ход планет,
Его Анета стала осью мира;
В его любви движенья больше нет
Отдельного, но целый комплекс вырос.
В туберкулезной хрупкости лица,
В беспомощности (как ее покинуть!)
Сквозь зов земли и чаянье конца
Светились вечно новые глубины.
Беспомощную облачность в глазах,
Надломленную скованность в фигуре
Прохватывал сияющий зигзаг
Большой любви и разражался бурей.

А рядом — потухающий очаг
Его семьи. Он холоден и страшен,
Как скорбный дух; как ноша на плечах
Оставленная, жалкая Наташа.
Обязанности, ласка, жалость к ней,
Но как поборешь ту, другую силу?
Светящаяся амфилада дней
Взметенным пеплом горя замутилась.
Любовь, взглянувшая через разлив
И пух ветвей весенней Бирюлевки,
Все ценности сместила, опалив
Первоначальных очертаний легкость.
Две жизни были свихнуты с пути,
Анет в метель казалась не одетой,
И он узнал, как трудно защитить
Ее от едкой чопорности света.
Зимой на время мысли и любовь
Затмило смертью Пушкина, чтоб после
Вновь ослепить и стать для них судьбой,
На две семьи беспамятство набросив.
Бессмертный дух в деревьях не звучал
И не мигал в воде прудов и речек —
Гроб Пушкина в буранах и смерчах
Метелей увозили тьме навстречу.
И время шло. Любовь хотела жить,
Не ведая уверенности в завтра,
Любовь минутой каждой дорожит
И от секунд не может отказаться.
Казалось все в водовороте тонут,
Наташа плачет. Это выше сил,
И в первый раз он, отложив Платона,
Славянское Евангелие спросил.

«Прости, я пишу бессвязные фразы,
Пойми, для любви я хочу простора,
Пойми, я кому-то должен рассказывать
Про нашу любовь, про мою покорность.
Полей между нами и выюги нету,
Лишь сердца тревожные толчки,
Гляжу из московского кабинета
В ночь за окном, как в твои зрачки.
Милая, снега моих метелей
Станут кружевом твоей руки.

В вашем доме окна запотели,
И узоры на стекле легки.
Как тревожен облик твой, как сложен,
Он со мной во сне и наяву.
Люстра отвечает робкой дрожью
Утреннему шагу твоему.
Сколько я думал о нас на Святках,
Милая, что-то из мыслей сбудется?
Снежинки, и вальсы, и жизни краткость...
Не выходи на крыльцо — простудишься.
Что ты играла за эти дни?
Я клавиши вижу и вижу руку,
В ресницах — Рождественские огни;
Не надо, я слышу отсюда — Глюка...
Я вижу отсюда прядь волос,
И знаю, тебе по-зимнему весело,
Балами время твое неслось,
Не надо только, чтоб ты чудесила.
Мне треск подоженной ветки мил,
Мне запах свечи потухшей чудится.
На Святках я так тебя любил —
Не выходи на крыльцо, простудишься.
Снега помогают моей тоске,
Сияя в прохладных лунных блестках.
Я чувствую жилку твою на виске,
В ней сердце мое живет и бьется.
Милая, ты — под двойным запретом,
Глаза жены — но я бы их вынес,
Здоровье твое — помысли об этом,
Здоровье твое — моя святыня.
Господь сохрани твою беззащитность,
Метель, не пляши косматым чудищем,
Пусть будет твой день по силам рассчитан,
Не выходи из дома — простудишься.
И если, вконец закружась от ветра
И вихря снегов, я в твою беспомощность
Войду и возьму твою безответность,
Что будет с тобой, мое сокровище?
Я знаю, что ты на все готова,
Но люди? Но свет? Твои родные...
Куда мы уйдем от них, без крова
Оставшись, когда у нас все отнимут?
Ты помнишь, мои наезды в Залесье,
Свечу и окошко в зимнем тумане,

И как ты теряла равновесье,
И как озарял тебя румянец...
Я скоро приеду опять. Стыдиться
Теперь уже поздно и будь что будет.
Уедем вдвоем с тобой за границу.
И пусть проклинают нас и судят.
Пока—ты получишь эти строки.
Получишь — прости, я писал, что думал,
Что видел под голос снежной склоки,
Под ветер в трубе и вьюжные шумы».

2.

Ленивый кот у изразцов пригрелся,
И завывают в трубах голоса.
По римским цифрам двигаются стрелки,
Отзванивая четверти часа.
Простор зимы над снежной Бирюлевкой;
К утру метель стихает, отхрапев,
И зимний свет врывается и льется
Через проемы окон на паркет.
Топить камин, писать письмо. И рано
Задержнув шторы, зажигать свечу,
По вечерам читать Шатобриана,
Придвинув книгу к беглому лучу.
Иван Платоныч шаркает туфлями,
Мешает угли в ласковом огне,
И шутит ярко вспыхнувшее пламя
С его карриатурой на стене.
Неверной свечки зимние капризы
С тенями по стенам и по столу,
И с чуть оплывшим профилем Элиза,
Читающая по-французски вслух.
О колокольчик, слышимый сквозь версты
Снегов и леса, ветра и зимы.
Не к нам ли это? Дом стоит, как остров
Окошками вторгаясь в область тьмы.
Но все стихает. Сельские пенаты
Хранят уют семейный без помех,
А по дорогам, вьюгами объатым,
Никита мчится, завернувшись в мех.
Но он не к ним. Он мимо, на Залесье,
Он скачет, отлучившись из Москвы,

Встает метель, пути ему завесив,
И меркнет день в буранах полевых.
Сердце в лад подков заговорило,
И на козлах кучер зяб;
Был единственный, неповторимый
Блеск снегов, как блеск в глазах.
Ритм полета. Головокруженье,
Снег и снег, и мыслей нет.
В блеске снега было выраженье,
Чуть напоминавшее Анет.
Он раскроет руки. Станет шире
Сердце, принимая все блага.
Время, стой. О милые, большие,
Щеку холодящие снега.
Дом стоял окошками на ветер,
Был огромный сад в снегу,
На крыльце никто его не встретил,
Он ловил снежинки на бегу.
Сад рябит, окошко хлопья вертит.
Дома нет... И что сейчас глупей,
Чем письмо французское в конверте
И глухой старик-лакей.
Дома нет?! Строка письма двоится,
Кажется, что в мыслях связи нет.
Он читал: «Мы с мамой за границу...
Не ищите... Лучше так. Анет».
Что это? Ее больные бредни?
Снег подергивался тьмой.
В полушубке он стоял в передней,
И держал в руках письмо.
Сумерки на окна наплывали,
Ветер стекла холодил,
Тишина. Клубились снегом дали,
И лакей руками разводил.
Жизнь смешалась. Сумерки поблекли,
Возле сердца вьюги вьют.
Восемь верст пути до Бирюлевки,
Там камин, тепло, уют.
Там Иван Платоныч в кабинете,
С чубуком черешневым в руке.
Там Никита сможет об Анете
Говорить, чтоб дать исход тоске...

Жизнь перечеркнута чертой,
И боль, чем старше, тем свежее,
Мигали сутки чернотой
Ночей, и дней пустым движеньем.
И не до слов, и не до книг,
Казалось смертью дни густели,
Казалось, что к столу приник
Бездонный хаос и бесцельный.
Метели бились, веселясь,
Захлебываясь в снежном ветре,
О мир, забывший смысл и связь,
Письмо французское в конверте.

3.

Шли дни, как в пепельной завесе,
Часам, казалось, счету нет.
Весной он получил известье
О смерти в Бадене Анет...
Весна лишилась цвета весен,
В деревьях замерла беда,
Казалось, в страшном перекосе
Искажено лицо пруда.
Письмо явилось в Бирюлевку
И оглушило смертью лес,
Распухшей с горя почкой лопнув
И жизни встав наперерез.
И ад, казалось, днями вертит,
И страшен мир, и тесен дом,
В душе с беспомощностью смерти
Никита, как перед судом.
Мир показал свою изнанку,
Устои рушились, треща.
Наташа превратилась в няньку,
В сиделку, в друга и врача.
Никита был разбит, измотан,
Не спал ночей и клял весну,
И лишь Наташина забота
Рождала в доме тишину.
Она просила съездить к старцу
(Всего пятнадцать верст от них),
И будет легче, может статься...
Так просят тяжело-больных,

Улыбкой скрадывая властность,
Всю волю в просьбу обратив.
И просьба, озаряясь лаской,
Звучала, словно лейтмотив.
Упорство лаской побеждалось,
В глазах жены досады нет:
В глазах жены испуг и жалость
К нему, любившему Анет.
Как просьбам этим не поверить,
Как не принять из них любой,
Когда, как ветер сквозь деревья,
Сквозь просьбы говорит любовь.

Скрипит канат . . С лугов несет цветами,
В отлогий берег тыкают багром.
Пофыркивают лошади, вступая
С разъезженного спуска на паром.
Вода, стрекозы, ветлы, рыболовы,
Паром поскрипывает, отвалив,
И в Оптиной Никиту Бирюлева
Встречает колокольный перелив.

Э П И Л О Г

С тех пор явился оптинский мотив;
Вся Оптиная вошла легко и чисто.
Она благословляла, захватив
Причастностью к огромному единству.
Она людскими нуждами вошла,
Вошла семьей, и в ежедневном быте
Нашла источник ясного тепла,
Источник новых мыслей и открытий.
Она явилась в дельной простоте
Реальности. Явилась новым светом
В глазах жены, в просторе новых тем,
В просторе новых истин и ответов.
Явилась ежедневным и простым
Свершеньем веры. Нужно только слиться
С тем миром, где смиренным и святым
Являлся Бог в единстве интуиций.
Вернула вера в космос смысл и связь,
В спокойной речи схимника звучала,
И дух, через реальность преломясь,
Вносил в поступки новые начала.
Высокой правды сдержанная речь,
Горенье духа, ровный свет без тени.
Никита должен в формулы облечь
Высокий смысл соборных откровений.
Он отыскал забытый черновик —
«Смысл ценности», набросанный в Берлине,
Он к рукописи заново приник,
Сводя в одно разнообразье линий.
Как снежный ком наворачивалась мысль,
Рождался труд. Развертывались сферы;
Как на магнит, понятия влеклись
Сквозь плоть систем на твердый стержень веры.
Был в запредельность переброшен мост,
Вдали вставали новые задачи,
Труд ширился — он тому перерос
И оказался жизни равнозначен.

СТИХИ

АЭРОПОРТ

Эфирных колебаний хор
Гремит над океаном синим.
В бетонном кулаке Нью-Йорк
Зажал пучки воздушных линий.
Проглядывает утро, брызнув
Лучом, как пальцем указав,
Сквозь солнечные грани призмы
В прохладный аэровокзал.
В простор строительных лесов,
В газоны, где дорожки лягут,
В простор стеклянных корпусов,
Навесов, разноцветных флагов.
Мозаикой нанесено
На стену зала полпланеты,
Декоративное панно
В слепящих молниях пометок.
Над полем приступы жары,
У старта винт гремит, потея;
А в стеклах мебель и ковры,
Журналы, бары и коктейли.
В строенья солнечные влит,
В хрустальные оправлен грани
Гигантский аэромагнит,
Всемирный радиус влиянья.
Сверхскоростных движений рост,
Математические дали,
Намеченные мелом звезд
На черных досках мирозданья.

1960

П Р И Р О Д А

Вода не ждет, и лопаются почки,
И домовит пернатый шорох гнезд.
Олень слюну прозрачную в источник
Роняет, и веселой пылью звезд
Клубится мир, и чавкают копыта,
Вечерняя лохматится трава,
И кажется, что листьями покрыта
Ветвистая оленья голова.
Пока созвездья ласковые дышат,
Пока столбом танцуют комары —
Подслушивать полет летучей мыши
И заводь, где работают бобры.
Где силуэт листвы предельно четок,
Где берег густо травами порос,
И нет ночам сменяющимся счета,
И не смолкают шорохи берез.
Свободного Лесничего вселенной
Веселые отыскивать следы,
Где водопад исходит мыльной пеной
В непобедимой щедрости воды.
Озера, глушь. Ветвей и листьев сверток,
Просторные поляны и леса,
Где в бесконечных солнечных ретортах
Без усталы творятся чудеса.
Где каждый год на дереве заметку
Оставит, где плотины строит жизнь,
Где мысль распространяется по веткам,
Врываясь в солнечные этажи.
Стволы, как кладни над водой повисли,
Упала елка в воду головой,
И, как художник образами мыслит,
Природа мыслит солнцем и травой.

1961

Н И А Г А Р А

Внизу дымится Ниагара,
И камень солнцем обожжен,
Вода вскипает от удара
И обдает лицо дождем.
Взъерошенно - седоволосый
Откос запенен, как в снегу,
И пыль воды, летя с откоса,
Клубится в радужном кругу.
Бегут всклокоченные мили,
Встает скала в огромный рост.
Напор воды и камни в мыле . . .
Трепещет в лихорадке мост.
Вскипают солнечные блески,
Срываясь с пенистой гряды,
Окатывая пеной доски
В зеленой плесени воды.
И мы, тяжелые, как водолазы,
В намокших прорезиненных плащах
Следим сквозь пыль, секущую по глазу,
Как бьется пена, бревна волоча.
Бурлит вода. И чайка, клюв прочистив,
Летит крича к запененной скале;
Большое солнце закатилось в листья,
Оставив блик у чайки на крыле.
Вода спешила в ночь с утесов прядать,
Сквозь чуткий сон сознание бередя.
Мы спали под движение водопадов
И думали, что это шум дождя.
Шум проникает сквозь стекло и стены,
Туман пошел и камни обволок,
И новый день рождается из пены
И сырости всклокоченных валов.

1959

ВЕСНА ВЪ БРУКЛИНЕ

Бруклин во власти солнечных каскадов,
Бруклин у веток ласковых в руках,
Кувшинки Ботанического сада
Запутались в бегущих облаках.
Блестит вода. Вишневый цвет неистов.
Проносится и подавляет вздох
Весна почтовых ящиков и свиста,
И щебета ветвей и проводов.
Висит белье и сохнет на задворках,
Цветными рукавами шевеля,
А небо преломляется о створки
И брызжет зайчиками хрустала.
Пернатым — рай. У них работы пропасть,
Они с рассвета джазом увлеклись;
И Голубой Рапсодии синкопы
Сквозь ветки небом хлынули в Бруклин.
Грохочет поезд, обдавая треском,
Перроны хлещут шорохом шагов,
И выступает гершвинское детство
Из всех кварталов, как из берегов.

1961

ДВОЙНОЙ АСПЕКТ

Из Москвы шел поезд во Флоренцию . . .
Впрочем нет. Не так. Район Арбата,
Плеск под водосточными коленцами,
Улица от солнца рябовата.
Ласковых московских скверов зелень,
Пляска светотени на колонне,
Под стеклянный потолок музея
Медленно въезжает Калеони.
По музейным залам эхо бродит,
Вспугивая мрамор порыжелый.
Калеони отпустил поводья,
Конь заржал во дворике Барджелло.
Лязг подков пролетами отмечен,
Стены содрогаются от гула;
А в капелле Медичи навстречу
Чуть приподнимаются фигуры.
В Бреннере гуляли ветры резкие,
Но внизу погода стала теплой.
С севера шел поезд во Флоренцию,
Первый луч покачивая в стеклах.
Ночь была перронным гулом смята,
Вперебой колеса говорили,
Рассветало. И конец Арбата
Выходил на «Пьяцца Синьория».

Р И М

Графин бросает винный блик на скатерть.
Мы пьем вино. Мы тихо говорим.
К нам вместе с небом в розовом закате
Всей глубиной вступает в раму Рим.
Рябые блоки мрамора и травы,
Упрямый букс и лестницы из плит,
Фундаменты обрушенного храма,
Где ветер набегающий пылит.
Закат фронтоны переметил косо
И лег на стол через стекло окна.
Он золотист, как кожа абрикоса,
И в нем мерцанье красного вина.
За Римом лом еврейского погоста,
Вход в катакомбы с запахом земли,
В пыли дорог — апостольская поступь,
Босые ноги в мраморной пыли.
Сходились ходоки Кападокии,
Встречались лица, расы, племена,
Молитвы пели. Радовались. Пили
От красно-золотистого вина.
И были львы. Арена Колизея,
Шурша песком сулила вечный свет.
Вонючих клеток ржавчина и зелень
Уже бессильны. Смерти больше нет.
Под крышей христианской базилики
В кадильном дыме, в солнечной пыли
Коринфские колонны — прозелиты
Безоблачную старость обрели.
Здесь юность мира вихрем проносилась,
Крошился мрамор, сеялась трава . . .
История накапливала силы
И говорила вечные слова.
Мы пьем вино. Щербатый камень Рима
Вздывает капители за окном.
Здесь каждая черта неповторима,
И кажется здесь каждый шаг знаком.

Лет вымерших полуснесенный остов,
Ряды колонн в разрозненном строю.
Я вспомню век, когда бродил апостол,
Как вспоминают детство и семью.

1959

Ж А Р А

Каменные подземелья стонут,
Пульс горячий бьется на бегу
Духотой, чумным нутром вагонов,
Сизой кровью негритянских губ.
Ад пошел туннелями скитаться,
Он составы прогонял сквозь строй,
Комьями сердечного припадка,
Клекотом одышек и жарой.
Ад гудит в железных переплетах
Рельс. И вырвавшись из-под земли,
Как насильник, он козлиным потом
Солнечный цветок испепелит.
Он застрянет острыми углами
Меж костями черепа, пока
Бредит жажда ледяным Монбланом,
Уводя фасад под облака.
Дымный смерч, бесформенный и липкий,
Нагнетает смертную струю . . .
Но не в силах этот смерч улыбку
Отравить озерную твою.

1961

ВИТРИНЫ

Художник мучается завистью
К цветку. Он ловит образ шаткий;
Как почка треснувшая, замысел
Раскроется весенней шляпкой.
И смехом зазвенит по улицам,
Затараторит о делах,
И с отраженьем поцелуется
В витринах, в лужах, в зеркалах.
Вниманью — впору разорваться,
Гирлянда шляпок поплыла
Смотреть балет витринных граций
За тонкой стенкой из стекла.
Сквозь пантомимы манекенов
Цветные брызнули лучи,
И льется шелковая пена
С плеча и бедер, как ручьи.
В окошках небо отразилось,
Играет солнце дверью створчатой —
Стоят витрины магазинов,
Насквозь прохваченные творчеством.

1960



ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Разве могут быть глаза такие,
Разве можно не запомнить их ?
Ты — пульсирующая стихия,
Клавишей сияющий родник.
Чистый голос на высоких нотах,
Ураганы стихотворных строк —
Вертеру приснившаяся Лотта,
Ласково спустившая курок.
Есть волнующая обреченность,
Первозданная наивность, власть
В силуэте туфельки точеной,
В очертаньях губ, волос и глаз.
Ты сегодня можешь воплотиться
В колебание света и струны,
В головокружение пластинки,
В бестелесность радиоволны;
В котлованы, в плоскости и створки,
В алюминий, в зелень и в стекло,
Чтобы все движение в Нью-Йорке
Сквозь тебя летело и текло.
Бешеная перспектив смещенность,
Духотой, как тряпкой, заткнут рот ;
Резь в глазах от крыши освещенной,
Этажи, асфальт, водоворот.
Ты навязчивой идеей станешь,
И прохожий, бредящий тобой,
Падает на рубеже сознания
В солнечность мелодий головой.

1960

* *

*

Ты думаешь о солнце ли, о лете,
О камне Рима, о воде фонтанов —
Ты, как мотив в Прокофьевском балете,
Всегда просторна и всегда нежданна.
Звук переходит в краски и в движение,
И вспыхивает золотом над бровью;
Смеется и, ломая напряжение,
Смешинки отдаются в каждом слове.
Ты счастлива. Ты — в световом каскаде,
Ты радостью и щедростью жива —
Все золото взяла себе на пряди,
Всю музыку — себе на кружева.

1960

А К В И Н А Т

Посвящается философу Жаку Маритену

Птицы на сыром рассвете пели;
Стрельчатая поднялась заря
И пошла дозором возле келий,
Возле галлерей монастыря.
Яблоня, утри росу с тычинок,
Липа, с почек утро оботри.
Сколько крепкой свежести в лощинах
И у влажных лепестков внутри.
Сколько веток, сколько непомятых
Диких трав, кустарников густых;
Жизнь... Но окунаться в Аквината
Радостней, чем в мокрые кусты;
Радужней, чем в солнечную каплю,
Веселей, чем в птичий пересвист.
Старыми пергаментами пахнет
Узколиций постник-латинист.
Диалог с учеником Платона
Поднимает и уносит ввысь;
Туже нераскрытого бутона
Набухает творческая мысль.
Власяница в бой вступила с плотью,
Колокол тревожен — не уснуть.
Возле келий бродит Аристотель,
Только внутрь не смеет заглянуть.
Он совсем в ином законе вырос,
Не ему колокола звонят.
Он проходит — и берет папирус
У него привратник Аквинат.

1960

КЛОЙСТЕРС. МУЗЫКА ПРОКОФЬЕВА*)

Прояснялась тема у Прокофьева:
Флейта шла, боясь передохнуть;
Воины единорогу копьями
Сквозь кустарник преграждали путь.
Раздвигаясь исчезали стены,
Шла сияющая глубина,
Ласковая музыка летела
В амбразуру синего окна.
В мокрых листьях утренняя кротость;
Тема — солнечные два крыла;
Музыка, как ты, вполоборота
Повернувшись дух перевела.
Двигаясь по солнечным минутам,
В переходах сводчатых звуча,
Обернулась королевой Утой,
Плащ придерживая у плеча.
Может ты — лишь световая буря,
Может ты — всего лишь переход
Из одной реальности в другую,
Завихренное кресчендо нот.
И колонн тринадцатого века
Может ты бессмертная сестра;
Перспектива солнечная в некий
Новый Китеж звука и добра.
Голубые стрельчатые окна,
Тень ветвей и ветренный простор;

*) Клойстерс — музей средневекового искусства в Нью-Йорке.

В листьях капли радужные сохли,
Солнцем ослепленные вупор.
Сад шумел всем лиственным размахом,
В изумрудных жилках пела кровь его.
Переходы вслушивались в Баха,
Стены отзывались на Прокофьева.

1960

ОТРАЖЕНИЕ В МУЗЫКЕ

Так начинается игра
Мелодии, как бы стеклянной;
Так просыпаются утра,
Перекликаются поляны.
Пока в сюите разберусь
(В ней столько гласных перевито),
Пока твою любовь и грусть
Увижу сквозь кристалл сюиты.
Мотив намеченный едва
Отсвечивает перламутром.
Ведь птицам не нужны слова,
А ты — как птица и как утро.
У птиц гармонии учась,
Звуча водой в лесной колоде,
Ты бродишь с легкостью луча,
Как по лицу улыбка бродит.
Мир отраженный в голосах,
Твой мир отмечен меткой вечной:
Так орнитологи в лесах
Кольцуют птиц стальным колечком.

1960

РОМАНСКИЙ ДВОРИК

Прохладным ветром ветки пронимает,
Прижалось утро к влажному листу,
И зябнется от заморозков в мае
Украшенному лентами шесту.
Тем беспредельней мир, чем стебли мельче,
Чем запах трав привольней и острей;
Шиповник розоват и клевер стрельчат,
А по двору проходит менестрель.
Трава растет без страха и без цели,
Прорвавшись из-под каменной плиты.
Страшилища с романской капители
Зубастые оскаливают рты.
Сидят, каскадам солнечным доверясь,
Насмешливо поглядывая вниз,
А женский взгляд в пролете галереи
Неконченной мелодией повис.
Пронизывая каменные глыбы,
Приветливо глядит из-за плеча
Весенний день, как переплет улыбок,
Как солнечная музыка луча.
Таков твой мир — без края, без преграды;
Ты, к солнцу приподняв бровей излом,
Следила улыбающимся взглядом,
Как веял ангел радужным крылом,
Как музыка бежала по карнизам,
И ветки вслед качало и несло,
Как золотыми нитями пронизан
Деревьями шумел зеленый склон.
Твои глаза от облаков пестрели,
И арка над тобой была остра,
А солнечная поступь менестреля —
Лишь глаз твоих веселая игра.

1961

Э С Т А Ф Е Т А

Мы прочно встали на водоразделе,
Водораздел просторен и высок,
Он перед нами прошлое расстелет
И вести будущего донесет.
Сквозь грохот войн, сквозь взрывы в черной
пене,
Сквозь слизь траншей и глину волчьих ям
Мы прадедов увидим в поколениях
И руки им протянем, как друзьям.
Грановский и Киреевский . . . За ними
Прохладный Запад ровно золотист,
За ними в колокольном переливе
Свободной грудью дышит романтизм.
Любовь и дружба... В ровных плитах камень,
Гремит собор, звучит просторный неф,
И летний вечер, как в хрустальной раме,
Спокойно гаснет в стрельчатом окне.
Безудержные споры до рассвета,
Где совершенством бредит каждый вздох.
Колонны. Парки. Университеты.
Широкий взлет сороковых годов.
Наивность?—Нет. Уверенность и цельность
Души свободной, совести простой.
Мы ясность духа заново оценим,
Мы цельность сердца вновь поставим в
строй.

Искания мы закрепим в ответах,
Учась друзей в прошедшем узнавать.
Мы будущему шлем, как эстафету,
Их веру, мысли, чаянья, слова.

1958

МЕЛОДИЯ ГЛЮКА

Чистый голос воды в тростниках и в осоке.
И высокий, как флейта, мотив.
Ясный голос природы,
Коровьего брода плесканье,
Пляска нимфы под флейту . . .
Уклейка плеснула в воде.
Шевельнулась душа в тростнике,
Просияла отраженьем луны на воде,
И везде стало тихо. Тропами
Пан сквозь пни проберется к реке,
Закричит и замрет, обессилив,
Филин в чаще вечерней;
И чернью ветки густо покроют закат.
Дремлет музыка чащ и болот тростниковых.
Ясен голос воды и поникший тростник.
Вьется белый туман над водой, разлетаясь,
Словно складки прозрачных туник.
Здесь природы душа,
И шуршат в тростниках, отзываясь,
Звезды, ветер, планеты, поступки и мысли,
Листья, образы, музыка, музы.

1957

Э В О Л Ю Ц И Я

Через поля прошел, на стебель дунул,
За семечком летящим уследил,
И, взяв с цветка затейливый рисунок,
На крылышки его пересадил.
И пристальность природы обострили
Бессчетные уловки мимикрии,
И в травяных колеблящихся дебрях
Нашли приют испуганные зебры.
Шумело море первозданных сил,
В ручьях играли солнечные струйки . . .
И, прикоснувшись, челюсть сократил
И кости скул вытачивал, как скульптор.
В пласты земли закладывал, как в книги,
Следы сознания, трещины и сдвиги,
Куски клыков, скелетов и костей.

И вышел из пещеры Прометей —
Он высек искру обухом кремневым
И стал охотником и звероловом;
Он стал царить в пространстве и на море,
Он атом взял и с атомом поспорил,
И вырос столб из пара и воды
Предчувствием космической беды.

1959

ВЕСНОЙ

Когда тебе улыбка губы тронет,
Меня охватит голосами птиц;
На сыроватом от дождя балконе
Сияние пойдет от половиц.
Пойдут стихи. За стеклами окошек
Раскроется сияющий закат;
И выплеснутся книги из обложек,
И выйдет в сад страница и строка.
Раздвинутся пропорции и стены,
И я увижу, что препятствий нет,
Концепции построятся в системы,
И заживут движением планет.
И обернется шорохом зеленым,
Просторной влагой обернется лес.
И каждый лист забьется миллионом
Веселых торопящихся сердец.
Когда тебе улыбка губы тронет,
Пронизет солнце светом этажи;
Сойдя с листа, поднимутся в бетоне,
В железных скрепах станут чертежи.
Весна ворвется ветреным порывом,
Пронизывая листья с высоты.
Смотри, твоя улыбка растворилась
И стала жизнью солнца и воды.

1961

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ

Жизнь статистических частиц,
Где счет идет на миллионы,
Где силы без имен и лиц
Слепому отданы закону.
Где манекены правят суд
Над всем, где машинально быстро
Дома, как графики, растут
В уме статистика - кубиста.
А площади упали ниц
Перед слепым стеклом фасадов,
И бредят общим, единиц
Не достаивая взглядом.

Каменный лабиринт на тысячи миль
разветвленный.
Милая, отведи, как облако, прядь со лба —
Я не боюсь статистических миллионов,
Смотри, у тебя в бессмертие запрокинута
голова.

1961

ЛИМЕРИК

Жил-был император Селасия:
Измена в стране завелась его.
Смотри он каков:
Казнил вожаков,
У них не спросивши согласия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДВЕ ЛОГИКИ (вместо предисловия)	3
БИРЮЛЕВ, поэма	7
Вступление	9
Бирюлевское лето.	10
За границей.	19
Дома	28
Под другим углом	36
Эпилог	44
СТИХИ	45
Аэропорт	47
Природа	48
Ниагара	49
Весна в Бруклине.	50
Двойной аспект	51
Рим	52
Жара	53
Витрины	54
Вечная женственность	55
Ты думаешь о солнце ли, о лете	56
Аквинат	57
Клойстерс. Музыка Прокофьева	58
Отражение в музыке	59
Романский дворик	60
Эстафета	61
Мелодия Глюка	62
Эволюция	63
Весной	64
Статистические цифры	65
Лимерик	65



